

ГЕНРИХ

В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глѣбова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу — заѣзжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще свѣтло, зеленѣло чистое и прозрачное вечернее небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымкѣ, уже темнѣло и неподвижно сияли огни только что зажженных фонарей.

У под'ѣзда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глѣбов приказал засыпанному снѣжной пылью Касаткину приѣхать за ним через полчаса:

— Отвезешь меня на Брестскій.

— Слушаю-с, — отвѣтил Касаткин. — Заграницу, значит, отправляетесь?

— Заграницу.

Круто поворачивая высокоаго, стараго рысака, Касаткин дружески-неодобрительно качнул шапкой:

— Охота пуще неволи!

Простой и нѣсколько запущенный вестибюль, старый большой лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вѣжливо стоявшій в своем мундирчикѣ, пока лифт медленно тянулся вверх, — вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное. «И правда, зачѣм я ѣду?» Он посмотрѣл на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одѣт... в Ниццѣ теперь чудесно, Генрих отличный товарищ... а главное, всегда кажется, что гдѣ-то там будет что-то особенно счастливое... пустыки и то радостно волнуют: остановишься гдѣ-нибудь в пути — кто тут жил перед тобою, что висѣло и лежало в этом большом гардеробѣ, чьи это забытыя в ноч-

ном столикѣ женскія шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на Вѣнском вокзалѣ, ярлыки на бутылках австрійских и итальянских вин на столиках в солнечном вагонѣ-ресторанѣ в снѣгах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия... Утром, по дорогѣ вдоль моря в Ниццѣ, то пролеты в грохочущей и дымящей темнотѣ туннелей и слабо горящія лампочки на потолкѣ купэ, то остановки и что-то нѣжное и непрерывно звенящее на маленьких станціях в цвѣтущих розах, возлѣ млѣющаго в жарком солнцѣ, как сплав драгоценных камней, заливчика... И он быстро пошел по коврам теплых корридоров Лоскутной.

В его номерѣ было тоже тепло, пріятно. В окна еще свѣтила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно — жаль покидать привычную комнату и все, что пережито в ней, и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли...

Надя должна было вот-вот забѣжать проститься. Он поспѣшно спрятал в чемодан покупки, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услышал скорый стук в дверь. Он не успѣл открыть, как она вошла и обняла его, вся холодная и нѣжно-душистая, в бѣличьей шубкѣ, во всей свѣжести своих шестнадцати лѣтъ, мороза, раскраснѣвшагося личика и ярких зеленых глаз.

— Ёдешь?

— Ёду, Надюша.

Она вздохнула и упала в кресло, разстегивая шубку.

— Ты вчера меня замучил, — заговорила она, наслаждаясь, как всегда, чувством своей близости с ним, тѣм, что она может говорить ты знаменитому писателю. — Ах, как я бы хотѣла проводить тебя на вокзал! Почему ты мнѣ не позволяешь?

— Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсѣм незнакомые тебѣ люди.

— А за то, чтобы поѣхать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!

— А я? Но ты же знаешь, что это невозможно.

Он тѣсно сѣл к ней в кресло, цѣлуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей шеѣ ея слезы.

— Надюша, что же это?

Она подняла лицо и с усиліем улыбнулась:

— Нѣтъ, нѣтъ, я не буду... Я не хочу по-женски стѣснять тебя, ты поэт, тебѣ необходима свобода... Только вернись, как можно скорѣе!

— Ты у меня умница, — сказал он, улыбаясь ея серьезностью и ея дѣтским профилем — чистотой, нѣжностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрѣзом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой рѣсницы в слезах. — Ты у меня не такая, как другія женщины, ты сама поэтесса.

Она топнула в пол:

— Не смѣй мнѣ говорить о других женщинах!

И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская запахом душистаго мѣха и горячим дыханіем:

— Возьми меня...

Под'ѣзд Брестскаго вокзала свѣтил в синей тѣмѣ морозной ночи. Войдя в гулкій вокзал вслѣд за торопящимся носильщиком, он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в дорогой, черно-маслянистой каракулевой шубкѣ и такой же шляпкѣ, из под которой красивыми завитками висѣли вдоль щек черныя букли, держа руки в большой каракулевой муфтѣ, она зло смотрѣла на него своими почти страшными в своем великолѣпнн черными глазами.

— Все таки уѣзжаешь, негодяй, — безразлично сказала она, беря его под руку и спѣша вмѣстѣ с ним своими высокими сѣрыми ботиками вслѣд за носильщиком. — Погоди, пожалѣешь, другой такой не наживешь, останешься со своей дурочкой поэтессой.

— Эта дурочка еще совѣм ребенок, Ли, — как тебѣ не грѣх думать Бог знает что.

— Молчи. Я-то не дуручка. И если правда есть это Бог знает что, я тебя сѣрной кислотой оболую.

Из-под готоваго поѣзда, сверху освѣщеннаго матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящій сѣрый пар, пахнущій каучуком. Международный вагон выдѣлялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридорѣ под красным ковром, в пестром блескѣ стѣн, обитых тисненой кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была уже заграница. Проводник поляк в форменной коричневой курткѣ отворил дверь в маленькое купэ, очень жаркое, с тугой уже готовой постелью, мягко освѣщенное настольной лампочкой под шелковым розовым абажуром.

— Какой ты счастливый! — сказала Ли, заглядывая в купэ. — А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва спутница?

И она подергала дверь в сосѣднее купэ.

— Нѣтъ, тут заперто. Ну, счастлив твой Бог! Цѣлуй меня скорѣй, сейчас будет третій звонок...

Она вынула из муфты руку, голубовато-блѣдную, изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумѣренно сверкая глазами, цѣлуя и кусая то в губы, то в щеки и шепча:

— Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!

За черным окном огненной вѣдьмой неслись назад крупные оранжевыя искры, порой мелькали освѣщаемые ими бѣлые снѣжные скаты и черныя чащи сосноваго лѣса, таинственныя и угрюмыя в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединяющую его и сосѣднее купэ. Дверь оттуда отворилась и, смѣясь, вошла Генрих, очень высокая, в сѣром фланелевом платьѣ, с греческой прической лимонно-рыжеватых волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.

— Ну что, попрощался? Я все слышала. Мнѣ больше всего понравилось, как она ломилась ко мнѣ и обложила меня стервой.

— Начинаешь ревновать, Генрих?

— Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так хороша и дика, я давно-бы потребовала ея полной отставки.

— Вот в том-то и дѣло, что так хороша и дика, — попробуй-ка отставить такую! А потом, вѣдь переносу-же я твоего австрійца и то, что послѣзавтра ты будешь ночевать с ним.

— Нѣтъ, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я ѣду прежде всего за тѣм, чтобы развязаться с ним.

— Могла бы сдѣлать это письменно. И отлично могла бы ѣхать прямо со мной.

Она вздохнула и сѣла, поправляя блестящими пальцами волосы, положив ногу на ногу в сѣрых замшевых туфлях с серебрянными пряжками:

— Нѣтъ, мой друг, я хочу разстаться с ним так, чтобы имѣть возможность работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, так, как я, снабжать его журнал всѣми театральными, литературными и художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его геніальныя новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ниццѣ восемнадцатаго, а я не позднѣе двадцатаго, двадцать перваго. И довольно об этом, мы вѣдь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи.

Она поднесла к его губам теплую розоватую ладонь, смѣясь глазами.

— И, если хочешь, будем только товарищами.

— Я об этом подумую, — сказал он, цѣлуя ладонь и радостно глядя на ея тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках и янтарные глаза с карими зрачками. — Конечно, лучшаго товарища, чѣм ты, мой дорогой Генрих, у меня никогда не будет. Но это все-таки не «прежде всего». Зачѣм у тебя такія тонкія щиколки и такія извилистыя сладкія губы?

Только с тобой одной мнѣ всегда легко, свободно, можно говорить обо всем дѣйствительно как с другом, но знаешь, какая бѣда? Я все больше влюбляюсь в тебя.

Она продолжала смотрѣть веселыми глазами:

— Так что мое купэ будет нынче ночью пустое?

— За это я тебѣ ручаюсь. Или мое будет пустое.

— А гдѣ ты был вчера вечером?

— Вечером? Дома.

— А с кѣм? Ну да Бог с тобой. А ночью тебя видѣли в «Стрѣльнѣ», ты был в какой-то большой кампаніи в отдѣльном кабинетѣ, с цыганами. Вот это уже дурной тон — Степы, Груши, их роковыя очи...

— А вѣнскіе пропойцы вродѣ Пшибышевскаго?

— Они, мой друг, случайность и совсѣм не по моей части.

Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?

— Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша, правда, хороша, — между прочим тѣм, что не поймешь, сколько ей лѣтъ, восемнадцать или тридцать.

— Ну, ну, опиши мнѣ ее.

— Нѣтъ, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Чтож тут описывать, не видала ты что-ли цыганок? Очень худа и даже не хороша — плоскіе черные волосы с дегтярным глянцем, сѣро-кофейное довольно грубое лицо, бессмысленные синеватые бѣлки, лошадиныя ключицы в каком-то желтом крупном ожерельи, плоскій живот... это-то, впрочем, очень хорошо вмѣстѣ с длинным шелковым платьем цвѣта золотистой луковой шелухи. И знаешь, как подберет на руки огромную шаль из тяжелаго стариннаго шелка и пойдет под бубны мелькать из под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами, — просто несчастье! Пальцы дикіе, темные, цѣпкіе, кольца тоже серебряныя... Но идем обѣдать.

Она встала, легонько усмѣхнувшись:

— Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тѣм, что Бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Двѣ чудесных комнатки!

— Увы, с Варшавы будет одна.

— Что-ж, и то хорошо. Дешевле...

Она накинула на волосы вязаный оренбургскій платок из бѣлаго пуха, он надѣл дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по безконечным туннелям вагонов, переходя желѣзные лязгающіе мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снѣжной пылью гармониках между вагонами.

Он вернулся один, сидѣл в ресторанѣ, курил, — она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купэ счастье совсѣм семейной ночи. Она откинула на постели угол одѣяла и простыни, вынула ему ночное бѣлье, поставила на столик вино, положила плетеную из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голыя руки к волосам и выставив полныя груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашкѣ и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талія у нея была тонкая, бедра полнобѣсныя, щиколки легкія, точеныя. Он долго цѣловал ее стоя, потом они сѣли на постель рядом и стали пить горьковатое рейнское вино, опять цѣлуясь холодными от вина губами.

— А Ли? — сказала она, смѣясь и пуская его руку. — А Маша?

— Не брани меня, Генрих, за безпутство, за бездѣлье, — с шутливой грустью говорил он ночью, лежа с ней рядом. — Уж очень люблю я вот эти купэ, ночи в их темнотѣ и мотаньѣ, мелькающіе за шторой огни каких-то станцій, а главное, вас, вас. «Что есть Жена? Сѣть прельщенія челоуѣков. Свѣтла лицом и высокими очами мигающа, ночами играюща...» Ты же все понимаешь, Генрих. Вѣдь какая бывает у тебя иногда милая, безразличная, немножко грустная, все знающая улыбка!

— А еще что мило у меня? — спросила она.

— А еще все и вездѣ, — сказал он, цѣлуя ее грудь.

— А у Ли груди смуглыя и маленькія? Она глупа?

— Нѣтъ... Не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, очаровательно легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой... Но ты мнѣ надоѣла с Ли.

— Надоѣла, потому что не хочу больше быть товарищем тебѣ.

— И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому вѣнскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть послѣ инфлуэнціи в Ниццѣ. И поѣдем не разставаясь и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италію...

— А почему не в Ниццу?

— Не знаю. Вдруг почему-то раскотѣлось. Главное — поѣдем вмѣстѣ!

— Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италія? Ты же увѣрял меня, что возненавидѣл Италію.

— Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетов. «Я люблю во Флоренціи только треченто...» А сам родился в Бѣлевѣ и во Флоренціи был всего одну недѣлю за всю жизнь. Есть, знаешь, такіе писатели: раз в жизни попал на недѣлю куда-нибудь в Леванто, по итальянски выучил только бона сера, квесто, суббито, а потом пишет: «Мой старый пріятель рыбак Джіованни, с которым я любил порой поболтать и распить стаканчик мѣстнаго кисленькаго винца...» Так и тут: треченто, кватроченто... И я возненавидѣл этих Фра Анжелико, Гирляндайо, и треченто, и кватроченто, и даже Беатриче и сухоликаго Данте в бабьем шлыкѣ и лавровом вѣнкѣ. «Ваши умныя руки... Вы молчите, кутаясь в свой пуховой платок за самоваром...» Ты подумай только — «умныя руки»! И о чем может молчать эта набитая дура, вся изломавшаяся, чѣм-то вѣчно томящаяся? И вѣдь у нея тоже висят на стѣнѣ снимки с Анджеліко. Помнишь у Герцена в письмѣ к Огаревой: «Ты любишь безвыходность». Вот и она любит «безвыходность».

— Слава Богу, не всѣх, значит, психопаток ты любишь.

— Не всѣх, не всѣх. Ну, поѣдем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарію, вообще в горы, в какую-нибудь каменную деревушку среди торчащих в небѣ пестрых от снѣга гранитных дьяволов... Представь себѣ только: острый, сырой воздух, эти дикія, каменные хижины, крутыя крыши, сбитыя в кучу возлѣ горбатаго каменнаго моста римских времен, под ним быстрый шум молочно-зеленой рѣчки, бряканье колокольцов тѣсно, тѣсно идущаго овечьяго стада, возлѣ моста аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с вѣтвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырѣзанными из пемзы... словом, дно ущелья, гдѣ тысячу лѣтъ живет эта чуждая всему міру горная дикость, родит, вѣнчает, хоронит, и вѣка вѣков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-то вѣчно бѣлая гора, как исполинскій бѣлый мертвый ангел... А какія там дѣвки, Генрих! Крѣпкія, могучія, в черных корсажах, в красных шерстяных чулках...

— Ох уж мнѣ эти поэты! — сказала она с ласковым зѣвком. — И опять дѣвки, дѣвки... Нѣтъ, в деревушкѣ холодно, милый. И накаких дѣвок я больше не желаю...

В Варшавѣ, под вечер, когда переѣзжали на Вѣнскій вокзал, дул навстрѣчу мокрый вѣтер с рѣдким и крупным холодным дождем, у морщинистаго извозчика, сидѣвшаго на козлах просторной коляски и сердито гнавшаго пару лошадей, трепались литовскіе усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинціальными.

На разсвѣтѣ, подняв штору, он увидел блѣдную от жидкаго снѣга равнину, на которой кое-гдѣ краснѣли кирпичные домики. Тотчас послѣ того остановились и довольно долго стояли на большой станціи, гдѣ, послѣ Россіи, все казалось очень мало — вагончики на путях, узкія рельсы, желѣзные столбики фонарей, — и всюду чернѣли вороха каменнаго угля; маленькій, шустрый солдат с винтовкой, в высоком кепи и ко-

роткой мышино-голубой шинели, шел, переходя пути, от паровознаго депо; по деревянной настилкѣ под окнами ходил долговязый усатый человекъ в клѣтчатой курткѣ с воротником из заячьяго мѣха и зеленой тирольской шляпѣ с пестрым перышком сзади...

Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ея тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.

— Генрих, и ты? — сказал он.

— И я милый, — отвѣтила она тихо. — Я на разсвѣтѣ часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя... Через нѣсколько часов ты уѣдешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрійца... А потом опять кафе и цыганско-венгерскій оркестр, эти рѣжущія душу скрипки...

— Да, да, пронзительныя цимбалы и скрипки и то какая-то завывающая, грозная печаль, то сладострастно-мучительная, как зубная боль, нѣжность, а потом отчаянно-бѣсовская пляска... Я ж тебѣ говорю: пошли его к чорту и поѣдем дальше.

— Нѣт, милый, нельзя. Чѣм-же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебѣ, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в послѣдній раз, когда я уѣзжала из Вѣны, мы с ним уже выяснили, как говорится, отношенія, ночью, на улицѣ, под газовым фонарем. И ты не можешь себѣ представить, какая ненависть была у него в лицѣ! Лицо от газа и от злобы блѣдно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, послѣ тебя, послѣ этого купе, которое сдѣлало нас уж такими близкими...

— Слушай, правда?

Она прижала его к себѣ и стала цѣловать так крѣпко, что у него перехватывало дыханіе.

— Генрих, я не узнаю тебя.

— Только одно слово: скажи точно, когда ты выѣдешь из Вѣны?

— Нынче вечером, нынче же вечером!

Поѣзд уже шел, мимо двери мягко шли и звенѣли по ковру чьи-то шпоры.

И был вѣнскій вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уѣхала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, в солнечныя улицы, на истощенной до костей и кожи, нервной, деликатной европейской клячѣ, в открытом ландо с красноносим извозчиком в пелеринѣ и лакированном цилиндрѣ на высоких козлах, снявшим с этой клячи одѣяльце и закукавшим и захлопавшим длинным бичем, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побѣжала с своим коротко обрѣзанным хвостом вслѣд за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горнаго полдня, лѣвое жаркое окно в вагонѣ-ресторанѣ, букетик цвѣтов, аполинарис и красное вино «Феслау» на ослѣпительно-бѣлом столикѣ возлѣ окна и ослѣпительно-бѣлый полуденный блеск снѣговых тѣснин, возстававших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба рукой подать от поѣзда, извивавшагося по обрывам над узкой бездной, гдѣ холодно синѣла зимняя, еще утренняя тѣнь. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно-алѣвшій и синѣвшій к ночи вечер на каком-то перевалѣ, тонувшем в великом обилии свѣжих снѣгов. Потом была долгая стоянка в темнотѣ внизу, возлѣ итальянской границы, среди чернаго Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящійся огонь при входѣ в закопченную пасть туннеля. Потом — все уже совсѣм другое, ни на что прежнее непохожее: старый, облѣзло-розовый итальянскій вокзал и пѣтушина гордость и пѣтушиныя перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вмѣсто буфета на вокзалѣ — одинокій мальчишка, лѣниво катившій мимо поѣзда телѣжку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше — уже вольный, все ускоряющійся бѣг поѣзда вниз, вниз и все мягче, все теплѣе бьющій из темноты в открытыя окна вѣтер Ломбардской равнины, усяьной вдали ласковыми огнями милой Итали. И перед вечером

слѣдующаго, совѣм лѣтняго дня — вокзал Нищы, сезонное многолюдство на его платформах...

В синіе сумерки, когда до самого Антибскаго мыса, пепельным призраком таявшаго на западѣ, протянулись изогнутой и переливающейся бриллиантами цѣпочкой несчетные береговые огни, он стоял в одном фракѣ на балконѣ своей комнаты в отелѣ на набережной, думал о том, что в Москвѣ теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обѣдая в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тѣснотѣ фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменой курточкѣ до пояса и в бѣлых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносѣ телеграмму; разсѣянно ѣл жидкій суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюлѣ и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой ранней молодости не испытывал ничего подобнаго! Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бѣгали взад и вперед мальчики, разнося англичанам папиросы, сигары и газеты, ударил с эстрады струнный оркестр — телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поѣзд из Вѣны должен был привезти ее в двѣнадцать. Он выпил послѣ кофе цѣлую бутылку шампанскаго и, отяжелѣвшій, брезгливый, поѣхал в лифтѣ к себѣ, со злобой глядя на мальчика в формѣ: «Ах, какая каналья выростет из этого хитраго, услужливаго, уже насквозь развращеннаго мальчишки! И кто это выдумывает всѣм этим мальчишкам какія-то шапочки и курточки, то голубыя, то коричневыя, то свѣтлосѣренькія, с погончиками, с двойными рядами пуговиц на груди, с лампасами и кантами разных цвѣтов на штанах!»

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденькій лакей во фракѣ, итальянскій красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: *Pas de lettres, monsieur, pas de télégrammes.*» Он постоял в пижамѣ возлѣ открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущей золотыми иглами ряби моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая

доносящееся снизу, из под балкона, итальянское пѣніе под гитару, изнемогающее от сладкаго счастья, и злорадно думал:

— Ну и чорт с ней. Все понятно.

Он поѣхал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двѣсти франков, поѣхал назад, чтобы убить время, на извозчикѣ — ѣхал чуть ли не три часа: топ-топ, топ-топ, уии! и крутой выстрѣлъ бича в воздухѣ...

— Pas de télégrammes, monsieur.

Он долго и тщательно одѣвался к обѣду, думая все одно и то же:

— Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спѣша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приѣхала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свѣтѣ так не любил, как ее, что Бог многое простит мнѣ за такую любовь, простит даже Надю, — возьми меня всего, Генрих! Да, а Генрих обѣдает сейчас со своим австріяком. Ах, какое это было бы упоеніе — дать ей самую звѣрскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанскаго, которое они распивают сейчас вмѣстѣ, что-то крича по нѣмецки про меня, хохоча и цѣлуясь!

Послѣ обѣда он ходил в густой толпѣ по улицам, в теплом воздухѣ и сладкой вони копеечных итальянских сигар, выходил на набережную, к смоляной чернотѣ моря, глядѣл на драгоценное ожерелье его чернаго изгиба, печально пропадающаго вдали направо, заходил в бары и все пил, то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он, бѣлый, как мѣл, в бѣлом галстукѣ, в бѣлом жилетѣ, в цилиндрѣ, важно и небрежно, стараясь не шататься, подошел к портье, бормоча мертвѣющими губами:

— Pas de télégrammes?

И портье, дѣлая вид, что ничего не замѣчает, отвѣтил с радостной готовностью:

— Pas de télégrammes, monsieur!

Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только ци-

линдр, пальто и фрак, — упал навзничь и тотчас головокружительно полетѣл в бездонную темноту, испещренную огненными звѣздами.

На третій день он крѣпко заснул послѣ завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведеніе трезво и твердо. Он потребовал к себѣ в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалѣть о своей бессмысленной, испорченной поѣздкѣ. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал портѣе приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецію в вечернем поѣздѣ: пробуду в Венеціи день и в три часа ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную... Какой он, этот австріак? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и рѣшительным, — конечно, наигранным, — взглядом косо склоненнаго лица, исподлобья, из под широкополой шляпы... очень все таки интересный, энергичный, мужественный человек. Но все равно. Все можно вынести. И мало ли что будет еще в жизни! Венеція прекрасна... Опять пѣніе и гитары уличных пѣвцов, — выдѣляется рѣзкій и безучастный голос простоволосой женщины, вторящей разливающемуся коротконогому тенору в шляпѣ нищаго... старичек в лохмотьях, помогающій входить в гондолу — прошлый год помогал входить с огнеглазой сициліанкой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цвѣтущей мимозы в волосах цвѣта маслины... запах арбуза от воды канала и погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной сѣкирой на носу, покачиваніе гондолы и высоко стоящій на кормѣ молодой гребец с тонкой перепоясанной красным шарфом таліей, однообразно подающійся вперед, налегая на длинное весло, классически отставляя лѣвую ногу назад...

Вечерѣло, вечернее блѣдное море лежало спокойно и плоско зеленоватым сплавом с опаловым глянцем, над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду, дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленькаго солнца, апельсина-королька. Он

долго глядѣл на него, подавленный ровной безнадежной мукой, потом очнулся, подобрался и бодро пошел к своему отелю. «*Journaux étrangers!*» крикнул бѣжавшій навстрѣчу газетчик и на бѣгу сунул ему «Новое Время». Он сѣл на скамью и при гаснущем свѣтѣ зари стал разсѣянно развертывать и просматривать еще свѣжія страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослѣпленный как бы взрывом магніа:

— Вѣна. 17 Декабря. Сегодня, в ресторанѣ «*Franzensring*», извѣстный австрійскій писатель Артур Шпиглер убил выстрѣлом из револьвера завтракавшую с ним русскую журналистку и переводчицу многих современных австрійских и нѣмецких новелистов, работавшую под псевдонимом «Генрих».

10.XI.40.

Ив. Бунин.